

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Под редакцией В. М. Живова



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
МОСКВА 2009

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 08-04-16171

Исследования выполнены при финансовой поддержке
Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН
«Русская культура в мировой истории»

Утверждено к печати Ученым Советом
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН

О 94 Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. — М.: Языки славянских культур, 2009. — 432 с. — (Studia philologica).

ISBN 978-5-9551-0352-5

Коллективная монография посвящена проблемам динамики лексических значений в ту эпоху, когда русский язык переживал радикальные изменения, связанные с культурной революцией Петровской эпохи и обусловленными этой революцией процессами модернизации, секуляризации и вестернизации. Создававшаяся в XVIII в. новая русская культура требовала заведения новых понятий, и именно эта задача определяла многочисленные изменения в истории отдельных слов. В предлагаемой вниманию читателя монографии семантическая эволюция трактуется в рамках истории понятий с применением того аппарата, который был выработан в этой области лингвокультурных исследований (в частности, в работах Р. Козеллека и его школы). В книге рассматриваются разнородные понятийные сферы, что позволяет создать стереоскопическую картину языковых изменений в контексте глубоких культурных перемен. Эти перемены в разной степени затрагивают разные области культуры, однако во всех случаях вызванные ими семантические процессы работают с унаследованным от предшествующих эпох языковым материалом, приспособлявая его к решению новых понятийных задач. В этой перспективе история слов превращается в историю культуры. В монографии исследуются изменения в понимании темпоральности и появление представлений о свободном времени (слова *досуг, праздность*), в нравственно-политических концептах (слова *долг, должество, должность*), в понятиях социальной истории (слова *служба, промысел, работа*), в концептуализации человеческих качеств и поведения (слова *мужество, смелость, отвага*), в основных ментальных категориях, определяющих когнитивные способности человека (понятия *простой и сложный*), в каждодневных социальных практиках и их оценке (слова *детоубийство, греховодник*). Открывающаяся панорама семантических инноваций позволяет по-новому взглянуть на ряд теоретических проблем истории понятий.

Книга представляет интерес для лингвистов, филологов, историков культуры и социальных историков.

ББК 81.2Рус-03

ISBN 978-5-9551-0352-5

© Авторы, 2009

© Языки славянских культур, 2009

Содержание

<i>В. М. Живов.</i> История понятий, история культуры, история общества	5
<i>В. М. Живов.</i> Время и его собственник в России раннего Нового времени (XVII—XVIII века)	27
<i>А. А. Плетнева, А. Г. Кравецкий.</i> СЛУЖБА, ПРОМЫСЕЛ, РАБОТА: к истории слов и понятий	102
<i>Б. П. Маслов.</i> От долгов христианина к гражданскому долгу (очерк истории концептуальной метафоры)	201
<i>Ю. В. Кагарлицкий.</i> Позитивные характеристики поведения воина на поле боя и семантические сдвиги в их интерпретации в русской культуре Нового времени	271
<i>Е. Э. Бабаева.</i> Простой vs сложный: от истории прилагательных к истории оппозиции	315
<i>В. М. Живов.</i> Заспанные младенцы и матери-детоубийцы: из истории слов и понятий	370
<i>В. М. Живов.</i> Грѣховодник. К истории слова и понятия	405

В. М. ЖИВОВ

ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ, ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

История понятий, или в немецком оригинале Begriffsgeschichte (поскольку это направление историко-филологических штудий возникло и оформилось в Германии), выделилась в особую область знания в значительной степени благодаря трудам Райнхарта Козеллека и отчасти его старших коллег Отто Бруннера и Вернера Конце, издавших вместе с ним фундаментальный труд: *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* [Brunner et al. 1972—1993]. Это школа возникла, естественно, не на пустом месте. Журнал *Archiv für Begriffsgeschichte* начал выходить еще в 1955 г., а интеллектуальные традиции данного направления принято возводить к появившемуся в 1899 г. *Словарю философских понятий* (Wörterbuch der philosophischen Begriffe) Рудольфа Эйслера [Eisler 1910]. Его особенности, с которыми, надо думать, связана его нарастающая популярность в современных гуманитарных исследованиях, отчетливо видны при сопоставлении. Begriffsgeschichte в своих истоках отчасти напоминает разрабатывавшуюся в англоязычном мире историю идей (history of ideas). Отличительной характеристикой немецкого варианта с самого начала оказывается внимание к слову как таковому, к историко-филологической составляющей анализа интеллектуальных процессов.

Такой разворот в Begriffsgeschichte, конечно же, не случаен. В этом ясно просматривается преемственность в отношении к развитию немецкой философской мысли XX столетия. Прежде всего и наиболее очевидным образом речь идет о герменевтике. Идеи или понятия не существуют сами по себе как абстрактные метафизические сущности. Они живут в тексте (и дают жизнь тексту) и в этой своей жизни требуют диалога с традицией. Развитие понятий — это герменевтический

процесс, процесс «действенной истории» (Wirkungsgeschichte) в терминологии Ганса-Георга Гадамера. В работах Козеллека переклички с трудами Гадамера, который был его учителем, многочисленны и содержательны. Отмеченная преемственность имеет, однако, более общий и широкий характер. Фоном, на котором появляется Begriffsgeschichte, является тот анализ способов познания, который отличает феноменологические исследования, начиная по крайней мере с Дильтея и Гуссерля. Познание начинает рассматриваться беспредпосылочно, в его прямой данности, и отсюда появляются концептуализации языка в его когнитивной или бытийной инструментальности (в России эта линия развития представлена в трудах Г. Г. Шпета, в частности, в его *Внутренней форме слова* [Шпет 1927]). В Германии этот процесс затрагивает не только философию, но и собственно филологию и языкознание (см. труды Йоста Трира, например, [Trier 1931]). Можно полагать даже, что появление проекта Бруннера, Конце и Козеллека, равно как и позднейших теоретических работ Козеллека, не столько сформировало новый подход в области Geisteswissenschaften, сколько распространило рассматриваемое широкое философское движение на историю.

В самом деле, основным предметом Begriffsgeschichte в том виде, как она представлена в работах Козеллека, является история. То, что изучал Козеллек, — это язык истории, язык, на котором пишется история, и язык, в котором происходит история. Козеллек писал о неустранимом напряжении, которое существует между социальной историей и историей понятий или, иными словами, между историческим фактом и его языковым воплощением: «Социальная история, или история общества, и история понятий находятся в исторически обусловленном напряженном отношении, которое отсылает обе истории друг к другу, не будучи само способным когда-либо прекратиться» [Козеллек 2006: 37]. Козеллек отдает себе отчет в абсолютном доминировании языка в истории, так как языковые тексты не только являются важнейшими участниками истории (в виде соглашений, юридических актов, приказаний и т. д.), но и составляют материю истории: «[К]ак только событие станет прошлым, язык превращается в основной фактор, без которого невозможно никакое воспоминание и никакое научное осмысление этого воспоминания» [Там же: 41]. В этом плане Козеллек идет дальше, чем Люсьен Февр или Марк Блох (на которых он ссылается), для которых ментальные структуры остаются объектом изучения историка, не подчиняя его себе как наблюдателя.

Вместе с тем Козеллек не совершает радикального и несомненно опасного шага в метаисторию, как это делает Хейден Уайт (ср. предисловие Козеллека к книге Уайта *Tropics of Discourse* и предисловие Уайта к английскому изданию статей Козеллека [Koselleck 2002: IX—XIV, 38—44]). Хотя Козеллек пишет о «фиктивности фактического», реальность которого возникает лишь «посредством языковой фикции» [Ibid.: 43], он сохраняет определенное пространство для истории «вне языка». Он пишет о том, что «на уровне языка должно быть определено то, что в прошлой истории обуславливалось языком, а что нет» [Ibid.: 41], и приписывает определенную автономию истории общества, указывая, что «[р]азличие между действием и речью (...) препятствует также, при взгляде в прошлое, тому, чтобы социальная 'действительность' когда-либо совпадала с историей ее языковой артикуляции» [Ibid.: 51]. Основной акцент Козеллек делает на том, что историю невозможно построить и невозможно помыслить без истории понятий. С этим легко согласиться, в особенности учитывая тот вклад, который внесли в понимание исторического процесса работы Козеллека и его сотрудников. Этот подход, однако, фокусирует внимание исследователей, занимающихся историей понятий, на истории. Козеллек, естественно, далек от исторического детерминизма Гегеля, но он не полностью оторван от этой традиции. Он испытывает несомненное влияние М. Хайдеггера, причем прежде всего позднего Хайдеггера с его концептом истории бытия. Неудивительно поэтому, что у Козеллека, по словам Н. Е. Копосова, «[и]стория оказывается (...) некоторой самовластной силой, способной навязывать народам [лучше было бы сказать *человечеству*. — В. Ж.] их судьбу» [Копосов 2006б: 17]. История понятий, как ее преподносит Козеллек, есть прежде всего история исторических понятий.

Можно предположить, что ширящийся интерес к *Begriffsgeschichte* в международных гуманитарных исследованиях связан с центральностью для них исторической (а не синхронно-дескриптивной) проблематики, с постструктуралистским преимущественным вниманием к конструированию процессов, а не состояний. Козеллек и его сотрудники оказались постструктуралистами *avant la lettre* и отчасти не по своей воле. При таком развитии немецкая история понятий сделалась передовой наукой, за которой последовали другие национальные традиции. Российская наука также в последние годы начала осваивать данное направление. Здесь можно указать и на работы ряда ученых из Европейского университета в Санкт-Петербурге, издавшего сначала

сборник *Понятие государства в четырех языках* под ред. О. Хархордина [Хархордин 2002]¹, а затем сборник *Исторические понятия и политические идеи в России XVI—XX века* под ред. Н. Е. Копосова [Копосов 2006а]. Интересные начинания обнаруживаются в работах Е. Н. Марасиновой [Марасинова 2004а; 2004б]. Настоящий сборник также может рассматриваться как вклад в развитие данной исследовательской парадигмы².

Эти единичные и частные труды неправомерно, конечно, сравнивать с фундаментальными работами Козеллека и его коллег. Однако вряд ли прав Петер Тирген, который полагает в предисловии к изданному им сборнику с красноречивым названием *Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat*, что «Россия и Советский Союз были для истории понятий отнюдь не благоприятной почвой», и причину этого видит в том, что «история понятий требует свободы мысли», которой в России (и тем более в Советском Союзе) никогда не было [Thiergen 2006: XX]. Я не стану входить в споры о российском свободомыслии и вспоминать изречения Чаадаева, как это делает немецкий коллега³. На мой взгляд, он напрасно имплицитно противопоставляет западноевропейские успехи в области *Begriffsgeschichte* российской отсталости и ставит перед русской историей понятий задачу «нагнать упущенное» [Ibid.: XXV]. Отсталость русистики вполне сопоставима с отсталостью итальянистики или отсталостью испанистики, и это побуждает сомневаться в перспективности генерализирующих объяснений, апеллирующих к характеру «национальной» истории, и искать причины

¹ Этот сборник развивает идеи, изложенные в более ранней работе О. Хархордина, вошедшей затем в сборник его статей [Kharkhordin 2005].

² Само собой разумеется, что история русских понятий не является уделным владением русских ученых. Немецкие историки и филологи, исследующие русский материал, затрагивали в своих исследованиях и ряд проблем *Begriffsgeschichte*. Здесь нужно прежде всего отметить работы Ингрид Ширле [Schierle 2001; 2005—2006; 2006; 2007]. Некоторое количество сочинений, вполне вписывающихся в козеллековскую парадигму, можно найти среди многочисленных лексикографических работ Г. Кайперта (ср., например, [Keipert 1998; 2006]). О сборнике статей, посвященных истории русских понятий, который недавно был издан под ред. Петера Тиргена, будет сказано непосредственно ниже.

³ Дискуссионным, конечно, остается и вопрос о том, сколько именно свободы мысли нужно для благополучного функционирования *Begriffsgeschichte*. Здесь можно вспомнить, что ряд исходных интуиций этого направления восходят к работам М. Хайдеггера и О. Бруннера, до какой-то степени связанным с установками национал-социализма (см. [Копосов 2006б: 11—14]), эпоха которого едва ли может рассматриваться как расцвет интеллектуальной свободы.

в частных особенностях различных интеллектуальных традиций. В конце концов, и английский вариант *Begriffsgeschichte*, представленный в работах К. Скиннера [Skinner 1978] и М. Покока [Росок 1972], отличается своими особенностями, обусловленными иной, чем у Козеллека, интеллектуальной атмосферой (ср. [Копосов 2001: 284—294]). И относительно этих работ может быть поставлен вопрос, до какой степени они являются «*Begriffsgeschichte in strengem Sinn*».

Об этом строгом смысле П. Тирген пишет по поводу *Истории слов* В. В. Виноградова [Thiergen 2006: XXI] и, вполне естественно, находит, что исследования Виноградова не могут быть историей понятий «в строгом смысле». С моей точки зрения, проблема состоит в том, в какой мере этот строгий смысл оправдан, в какой мере он соответствует строго очерченной области знаний, а в какой мере оказывается данью специфическим интересам и идиосинкратическим построениям Козеллека (постановка подобного вопроса никак не умаляет выдающихся достижений главного теоретика истории понятий). Для Козеллека, как уже говорилось, главным интересом была история, и в силу этого понятия, на которых сосредоточивалось его внимание, были социально-политическими понятиями. Принципиальной ценностью обладало для Козеллека все то, что так или иначе относилось к изменениям в конструкции темпоральности, прежде всего отличительные черты времени в Новом времени (*Neuzeit*). Сюда как раз и относятся такие понятия, как история, время, Новое время, прогресс, эпоха, цивилизация и т. п.

Можно ли, однако, утверждать, что вне понятий этого круга существенных предметов для изучения в плане *Begriffsgeschichte* не существует? Думается, такие ограничения были бы не только контрпродуктивными, но и противоречащими внутренней конструкции данной области. Концептуализирование истории в различные эпохи апеллировало отнюдь не только к темпоральности как таковой, но к понятиям, имманентной темпоральностью не обладающим. До Нового времени история двигалась к Страшному Суду, так что ее темпоральность могла поглощаться эсхатологичностью (см. [Koselleck 2004: 232]). Это означает, что для человека поздней античности, или Средних веков, или — ограничиваясь неэлитарной частью населения — раннего Нового времени спасение было никак не менее важной категорией, чем время, так что понятие истории соприкасалось с такими «неисторическими» понятиями, как спасение, грех, покаяние, страх, смирение и т. п. Провести содержательную границу между по-

нениями, определявшими культурное сознание многих поколений, и понятиями, на которых покоилось историческое сознание, не кажется возможным: история — это часть культуры, и культура — это часть истории.

Можно, конечно, возразить, что такой подход абсолютизирует культуру, которая представляет собой еще более расплывчатую категорию, чем история, которую абсолютизирует Козеллек. Однако в данном случае терминологические дискуссии сводятся к перебору слов и вряд ли приводят к прояснению смысла. Мы можем, не вдаваясь в возникающие апории, определить культуру как совокупность наследуемых (т. е. мемориализируемых) дискурсивных, социальных, религиозных, эстетических и познавательных практик, изменяющихся (т. е. приобретающих историческую проекцию) в процессе наследования. История и есть выстраиваемый сознанием ряд таких изменений, то динамическое бытие, в котором эти практики осуществляются. Эти образующие порочный круг определения достаточны для того, чтобы уяснить, чем мы занимаемся, и, в частности, расширить область истории понятий от понятий «исторических» к понятиям «культурным». Последняя категория, очевидным образом, внутренне тавтологична, поскольку невозможно помыслить существование «вне-культурных» понятий. Можно было бы даже сказать, что история понятий — это история культуры, рассматриваемая как динамическая вербальная деятельность и раскрываемая через историю слов (языка), артикулирующих понятийную сферу (ср. [Thiergen 2006: XXVI—XXVII]).

Такой подход к истории понятий оказывается несомненно шагом в сторону от «Begriffsgeschichte in strengem Sinn» в представлении П. Тиргена, однако он кажется более гибким, открывающим перспективы для большего разнообразия исследований и, надо надеяться, более плодотворным. Вместе с тем он, следует думать, более приспособлен к русистике, поскольку в русской дискурсивной истории — еще в большей степени, чем в дискурсивной истории многих европейских языков — социально-историческая сфера крайне нечетко отделена от сферы христианско-религиозной, с одной стороны, и народно-магической — с другой. При таком подходе (к его преимуществам мы еще вернемся ниже) русская история понятий оказывается наделенной достаточно богатой (пред)историей. Я имею в виду прежде всего работы В. В. Виноградова по истории слов. Стоит напомнить, что Виноградов отнюдь не был провинциальным советским языковедом. В 1920—1930-е годы он был в целом

в курсе развития европейской гуманитарной мысли, в частности через работы упоминавшегося выше Г. Г. Шпета, и скорее отдавал себе отчет в значении истории слов для истории общества (хотя его больше интересовали собственно лингвистические и стилистические аспекты лексикологии), ср. его наблюдения над историей слов *декадент*, *декадентство*, *интеллигенция*, *кисейная барышня*, *отщепенец* и т. д. [Виноградов 1994: 135—137, 227—229, 243—245, 428—430]⁴. Эта линия исследований была продолжена до известной степени Ю. С. Сорокиным (см. [Сорокин 1965]) и в особенности в некоторых работах А. А. Алексеева, в полной мере заинтересованного проблемой соотношения лексических и социальных изменений (см. [Алексеев 1978]).

Сдвиг в сторону истории культуры приносит в исследованиях по истории русских понятий и другие дивиденды. Козеллек, сосредоточиваясь на истории «исторических» понятий, рассматривает в качестве переломного момента эпоху Просвещения. Оговорив зависимость постановки поворотного пункта (и членения истории на эпохи) от того, какие параметры берутся в качестве значимых, Козеллек объясняет, что именно в истории было перевернуто Просвещением. Новое время начинается с Просвещения, потому что Просвещение осознает себя как «знаменосец нового времени» (*neue Zeit* — [Koselleck 2002: 160]). С этого времени «время не остается только формой, в которой совершаются все истории, но оно само приобретает историческое качество. Вследствие этого история более не происходит во времени, но скорее посредством времени. Время метафорически динамизируется в самостоятельную историческую силу» [Ibid.: 165]. Будущее из воспроизведения уже бывшего превращается в область нового и неведомого, и это меняет основы исторического сознания и саму конструкцию истории. Великая французская революция как откровение совершенно нового и непредвиденного была одним из основных импульсов этого изменения и вместе с тем его символическим отправным пунктом.

Однако российское Просвещение — это совсем особенное Просвещение, не похожее на Просвещение французское или немецкое. Французское или немецкое Просвещение было, по мысли Канта (в его заметках «*Was ist Aufklärung?*») — см. [Foucault 1984: 32—50]),

⁴ Теоретические формулировки Виноградова, появляющиеся в работах 1940—1960-х годов, приспособлены к советскому изводу марксизма и поэтому малосодержательны, ср. [Виноградов 1977: 75—76].

становлением индивидуальной ответственности, которая позволяет просвещенному человеку разделить сферы подчинения и свободной мысли. В этом плане Просвещение было освобождением от государства как главного агента исторического порядка и социальной дисциплины. Русское Просвещение XVIII в. было куда теснее связано с государством, оно вводилось государством (по крайней мере при Екатерине Великой) и контролировалось им, так что, вообще говоря, оно может именоваться государственным просвещением (см. [Живов 1996: 422—427]). Государственный контроль включал в себя в качестве важнейших моментов контроль над историей и контроль над будущим. Поэтому в русском Просвещении реконцептуализации времени и реконцептуализации истории не происходило или, вернее, концепт Нового времени строился не из элементов собственного Просвещения, а усваивался от французов и немцев в качестве готового продукта. Поэтому для русской истории понятий Просвещение никак не может служить поворотным пунктом.

Где именно у русских располагается основной переломный момент, достаточно очевидно. Новая жизнь, а отсюда и новая мысль, и новые слова появляются в Петровскую эпоху. Не похоже, однако, что вместе с ними приходит и радикально новое понимание истории⁵, так что в качестве козеллековского перевала эти десятилетия, видимо, не годятся. Перевал с наглядностью обнаруживается, когда мы занимаемся концептами культуры, а не концептами истории. В сфере концептов культуры в эпоху Петра идет бурное освоение новых концептуальных парадигм. Оно, как неоднократно отмечалось, начинается еще до Петра, но именно в его царствование характеризуется наибольшей интенсивностью и, стоит добавить, принуждением. Как определить эти новые парадигмы в их совокупности, скорее не ясно. Они несомненно представляют собой элементы европоцентрического процесса модернизации, как бы ни определять этот сомнительный в своих универсалистских претензиях процесс (ср. [Dixon 1999: 1—24]). Им, по крайней мере выборочно, свойственна рационализация и секуляризация, хотя было бы неоправданным преувели-

⁵ Какие-то перемены в концептуализации истории в конце XVII — начале XVIII в. имеют место. Именно в это время русские перестают составлять летописи и начинают писать истории (первой историей можно считать, видимо, *Скифскую историю* Андрея Лызлова 1692 г. [Лызлов 1990]); в петровское время появляется несколько историй, похожих на западноевропейские образцы). История строится на каузальной связи описываемых событий, тогда как летописанию такие связи не нужны. Это, однако, не та глубинная ревизия темпоральности, которую постулирует Козеллек.

чивать значение этих параметров для петровской политики в целом (ср. [Лавров 2000]).

Появление новых реалий и новых понятий создает повышенный спрос на новые слова. Частично он удовлетворяется за счет заимствований, жадное освоение которых нередко рассматривается как основной лингвистический процесс эпохи петровских преобразований. Работы, посвященные петровским заимствованиям, многочисленны (см. [Christiani 1906; Смирнов 1910; Биржакова и др. 1972]). Как показал Ф. Оттен, многие из петровских заимствований появляются еще в последнее десятилетие XVII в., тем самым опережая основные реформы [Otten 1985]. Некоторые исследователи видят в освоении заимствованных слов прямой результат культурной революции, принесшей новые вещи и новые концепты [Cracraft 2004]; столь однозначная трактовка, однако, несостоятельна без существенных оговорок, учитывающих среди прочего, что новые слова могли быть переименованиями, т. е. новыми означающими для старых понятий (ср. [Живов 1996: 146—150; Zhivov 2005]).

В любом случае заимствования не решают понятийных проблем, которые ставит перед обществом модернизация: заимствования могут служить вспомогательным материалом, но не могут организовать новую дискурсивную практику. Эта невозможность обусловлена тем, что ни общественные и религиозные институты, ни модели бытового поведения и ритуалы каждодневной жизни никогда не меняются радикально: какой бы пандемической ни была культурная революция, повседневное поведение и привязанные к нему дискурсивные практики сохраняют хотя и не тождество, но преемственность. Постепенность дискурсивных изменений сочетается с постепенностью социальных перемен: в петровское царствование новые дискурсивные практики осваиваются сначала небольшой элитой и лишь весьма постепенно распространяются на другие сектора общества (этот процесс, надо думать, не завершается и до революции 1917 г., когда он — в силу исчезновения старой элиты — перестает быть актуальным). Это означает, среди прочего, что новые дискурсивные практики не занимают монопольного положения. Птенец гнезда Петрова, изъясняющийся на новомодном жаргоне, вынужден переходить на более общепонятный идиом при общении с представителями старшего поколения или членами других социальных групп. Его языковые повадки в высокой степени маркированы, и лишь через несколько поколений они оказываются вполне приемлемы хотя бы внутри дворянского общества.

Если петровские тексты наводнены заимствованиями, то позднее они по большей части уходят из языка. Отказ от заимствований был в основном обусловлен сменой языковых установок, ориентацией на французские и немецкие лингвостилистические пурстические модели (ср. [Живов 1996: 171—183]). Однако можно допустить, что в этом «очищении» языка играли роль и прагматические факторы: неосвоенные заимствования были плохим коммуникативным средством. Оба эти пурифицирующих фактора никак не воздействовали на другое отражение культурной революции в исторической семантике; имею в виду семантические кальки. Семантические сдвиги, как правило, не регулировались лингвостилистическими теориями и вместе с тем они не были таким препятствием для понимания, как незнакомые заимствования. Хотя смысл, возникавший в результате семантического сдвига, был новым, он был лишь отчасти новым, соотносенным со старым по определенным семантическим схемам, так или иначе известным носителям языка. Конечно, и на этой почве могли возникать коммуникативные конфликты, и они порою обыгрываются в сатирической литературе XVIII в.⁶, однако это было маргинальным явлением, так что семантические сдвиги имели массовый характер, проходили относительно незаметно и в результате отложились в языке. Семантические сдвиги представляют собой не только феномены истории слов, но и феномены истории понятий, поскольку слова с новоприобретенными значениями составляют новую понятийную парадигму и оказываются основой для модернизационных дискурсивных практик. В ряде случаев процесс семантического калькирования иноязычных слов наглядно отразился уже в Петровскую эпоху во внутритекстовых глоссах. Внутритекстовые глоссы, т. е. русский эквивалент для неосвоенного заимствования, в текстах периода преобразований чрезвычайно многочисленны. Они устраняют коммуникативный конфликт (поскольку объясняют неизвестное слово), позволяют заимствованию выполнить его семиоти-

⁶ Так, в комедии Городчанинова «Митрофанушка в отставке» имеется следующая сцена: «Заслуженов. Так это невеста будет не по вашему вкусу. Домоседова. И! мой отец. Какой в ней вкус. Вить она не баранина. Заслуженов (удерживает смех). Митрофанушка. Эх ты, матушка, бякнула. Разве о баранине речь зашла» [Городчанинов 1800: 87]. Непонимание возникает здесь в результате столкновения прямого значения слова *вкус* и значения, обусловленного семантическим сдвигом и возникающим в результате калькирования франц. *goût*. Тем не менее метафорический *вкус* реализовал вполне обычную метафорическую схему, и непонимание возникало здесь при показном идиотизме комедийного персонажа.

ческую функцию символа новой «европейской» культуры и вместе с тем обладают дидактическим заданием: они обучают просвещаемого читателя новым «просвещенным» словам. Именно так следует объяснять примеры, типа встречающихся у Феофана Прокоповича в «Правде воли монаршей»: *резоны или доводы, экземпляры или примѣры* и т. д. [ПСЗ VII: № 4870, 606, 607, 634]. Такие глоссы оказываются специфической чертой той секулярной литературы, которую культивировал Петр (ср. [Василевская 1967; Биржакова и др. 1972: 63]; ср. еще многочисленные примеры подобных глосс в словаре заимствований — под рубрикой «глоссы» — в последнем из указанных исследований: [Там же: 101—170]).

В основном глоссы являются точными семантическими эквивалентами глоссируемых заимствований: заимствование и глосса воплощают столкновение двух дискурсов, традиционного и модернизационного, причем — и это особенность русской модернизации — новое может появляться в результате простого переименования старого. Однако в отдельных случаях глоссируемое заимствование подчеркивает в глоссирующем слове то значение (тот семантический компонент), который ранее в нем был второстепенным или не выделявшимся отчетливо и в результате соотносит старое слово с новым понятием, ср., например, глоссы в «Генеральном Регламенте или Уставе» 1720 г. [ПСЗ VI: № 3534, 141—160]: *дирекцию (или управление), генеральные формуляры (образцовыя письма), акциденции или доходы* и т. д. *Управление* — это многозначное слово; его соотношение с новым словом *дирекция* выделяет в нем один компонент, соответствующий бюрократизации власти в ходе реформ Петра. Точно так же в «Артикуле воинском» 1715 г. мы находим *сатисфакцию* или *удовольствие* [Российское законодательство, IV: 353]. У *удовольствия* появляется новое значение, соотносящееся с понятием дворянской чести, оскорбления и требуемого при оскорблении возмещения морального ущерба.

Русская модернизация приводит к появлению секулярной культуры, и в русских условиях эта инновация оказывается куда более радикальной, чем секуляризация культуры на Западе в раннее Новое время⁷. На Западе элитарная секулярная культура су-

⁷ О секуляризации русской культуры в XVIII в. можно говорить лишь с существенными оговорками по ряду причин. Во-первых, для большей части населения, да, видимо, и для большей части дворянства, религиозная культура, хотя бы и в своих «суевренных» формах, остается доминирующей. Ни Ломоносову, ни Сумарокову не удается даже сколько-нибудь приблизиться к читательскому успеху *Четий Миней* Димитрия

ществовала и в Средние века, выражаясь в целом ряде явлений, не знакомых московскому культурному обиходу, например, в системе кургузных отношений, рыцарстве и рыцарском романе, ученой юриспруденции, обращающейся к античному наследию и т. д. Конечно, и в западном средневековье объем этой секулярной культуры относительно не велик и ее статус несравним с культурой религиозной. Тем не менее секулярная культура существует, и секуляризация Нового времени может расширять уже обжитую территорию. У русских такой территории нет, и весь набор понятий, нужных для секулярной культуры, им приходится создавать на пустом месте. Было бы, видимо, поспешным утверждать, что русские не ведали, что такое любовь, и совокуплялись, как животные, не испытывая никаких высоких чувств. Вряд ли можно полагать, что они были не в состоянии передать эти чувства словами, поскольку кое-какой вербальный инструментарий содержался в фольклоре. Однако в книжной культуре, целиком религиозной, в этой области не было ни слов, ни понятий. Вернее, такие слова имелись, но они принадлежали семантическому полю греховного и предосудительного (как, например, существительные *любоострастие* и *похоть*, глагол *распалаться* и т. д.), так что их коннотации содержали трудноустранимые элементы религиозной оценки⁸. Построить набор понятий, в которых такие коннотации оказывались бы затушеванными, было отнюдь не простой задачей, ее решение растянулось (если говорить только о языке элиты) вплоть до середины XIX в.

В сфере романтических отношений этот процесс осуществляется в значительной степени за счет семантических калек и может быть охарактеризован как секуляризация славянизмов (см. [Живов 1996: 497—509]). Именно в результате этого процесса *страсть*, *страстный*, *обаяние*, *обаятельный*, *соблазнительный*, в книжном языке допетровского времени обозначавшие разные аспекты дьявольско-

Ростовского. Во-вторых, элитарная имперская культура также отнюдь не пренебрегает религиозным оправданием установленного Петром государственного порядка (см. [Лавров 2000: 344—346; Zitser 2004: 140—168]). Эти моменты, однако, сейчас можно не рассматривать.

⁸ Попытки игнорировать эти коннотации делались и молодым Третьяковым, и молодым Ломоносовым, употреблявшими *похоть* в качестве позитивного обозначения любовного влечения (см. [Живов 1996: 170]). Однако этот юношеский эпатаж долговременных последствий не имел, и радостной *похоти* в русском языке не появилось.

го действия, превращаются в наименования позитивных любовных качеств и переживаний; эта трансформация осуществляется под влиянием их французских эквивалентов *passion, passioné, charme, charmant, séduisant* (см. [Виноградов 1977: 93—94; Хютль-Ворт 1963: 145—146; 1968: 14—15; Лотман 1970: 86—87]). То же самое можно сказать о семантической трансформации таких слов, как *мечта, мечтание, мечтательный, прелесть, прелестный* (ср. фр. *rêve* и *charme*). Понятийная секуляризация обнаруживается и в других семантических сферах, ср. хотя бы изменения в титуле монарха: *царь*, благодаря бесчисленным библейским и литургическим употреблениям ассоциирующийся в первую очередь с Царем Небесным, заменяется на *императора*, никаких религиозных ассоциаций в русском языке не имеющих.

Вместе с тем в XVIII в. интенсифицируется взаимодействие церковнославянских и просторечных лексических элементов, важность которого для формирования словаря русского языка и развития его понятийной системы имеет принципиальное значение (ср. об этом уже в работе В. В. Виноградова 1927 г. [Виноградов 1977: 27—34]). Одним из факторов этой интенсификации было исчезновение границ между отдельными регистрами письменного языка, в результате чего книжная лексика и коллоквиализмы оказывались перемешанными в одной корзинке. Одним из существенных процессов в лексике русского языка XVIII в. было появление в письменных текстах целого ряда слов, которые несомненно существовали ранее, но избегали письменной фиксации (см. в настоящем сборнике о таких словах, как *греховодник, заспать, приспать*). Это означало, что и «простонародные» понятия, соединявшиеся с неизвестными традиционному книжному языку словами, выходили на поверхность, занимали место в культурном сознании и вступали во взаимодействие с понятиями элитарной культуры.

Естественно, характер семантических сдвигов мог быть достаточно сложным, никак не сводящимся к семантическому калькированию или отталкиванию от «простонародных» значений. Общие схемы могут в таких случаях не работать, так что индивидуальные случаи семантического развития требуют отдельных, часто обобщающих обширный материал исследований. Укажу здесь, например, на работы, посвященные понятиям *народ, народный, народность* ([Schierle 2005—2006: 75—85; Бадалян 2006; Ebbinghaus 2006]; ср. еще [Виноградов 1994: 936—937]). В многозначном в средневековой письменности слове *народ* (см. [Срезневский II: 320—321])

в XVIII в. в качестве особого значения обособляется ‘простой народ, чернь’, ранее этот семантический элемент требовал описательного обозначения (*простой народ, черный народ*) (см. [СРЯ XVIII в., XIV: 17—18]; народ может употребляться как в соответствии с лат. *populus*, так и с лат. *plebs*). В Словаре Академии Российской это значение еще не фиксируется, здесь в статье *народ* дается описательное выражение *простой народ* в значении ‘чернь, простолюдины’ [САР¹ V: стб. 43; САР² III: стб. 1175—1176]. В Словаре церковнославянско-го и русского языка 1847 г. это значение появляется: ‘Жители страны или государства, принадлежащие к низшим сословиям’ [СЦРЯ II: 399]⁹. Эта новая многозначность развивается, можно полагать, как семантическое калькирование многозначности фр. *peuple* (ср.: Trésor, s.v. *peuple*). Этим, однако, семантическое развитие в данной лексической группе отнюдь не исчерпывается. Если существительное *народ* воспроизводит многозначность фр. *peuple*, то прилагательное *народный* соединяет в себе, как отмечал уже П. А. Вяземский (Дамский журнал, 1824, № 8, с. 76—77), значения фр. *populaire* и *nationale*. Отсюда идет спектр значений, разный у разных авторов, новообразования (с 1819 г.) народность, которое может трактоваться и употребляться отдельными авторами как эквивалент фр. *nationalité*, и как эквивалент нем. *Nationalität*, и даже как эквивалент польск. *narodowość* [Остафьевский архив I: 357]. В составе знаменитой уваровской триады *Православие, Самодержавие, Народность народность* выступает, по проницательному замечанию Б. А. Успенского, как русский ответ на фр. *fraternité* в не менее знаменитой французской триаде *liberté, égalité, fraternité* (как обозначение органического единства нации) (см. [Успенский 1999: 16]). В развитии понятийной структуры прилагательного *народный* надо учесть также такие советские новообразования, как *народный заседатель, народный суд, народный комиссар (нарком)* и т. д., в которых *народный* обозначает ‘относящийся к институтам «народной» власти’ в оппозиции к институтам старого режима. Эта дискурсивная практика указывает в

⁹ Впрочем, в XVIII в. такие употребления единичны, так что не удивительно, что словари их не фиксируют. С начала XIX в., в особенности в контексте обсуждения проблем национальной специфичности, *народ* в данном значении появляется чаще, ср., например, у Ф. В. Ростопчина в письме П. Д. Цицианову от 10 января 1806: «Нет нужды писать тебе об унынии, так сказать, всей России. Неудача, измена Немцов, неизвестность о прошедшем, сомнение о будущем, а еще более рекруты, дурной год и пагубная зима, все преисполнило и дворянство и народ явною печалью» [Деятельный век II: 106].

свой черед на то, что советский режим с самого начала строит свою легитимность на понятийной паре «народ — власть», а не на паре «общество — государство» (как это делают либеральные режимы Европы Нового времени).

В результате многочисленных и разнонаправленных семантических сдвигов, семантического калькирования и последующей семантической перегруппировки постепенно возникает русский вариант того «метафизического языка», на отсутствие которого у русских жаловался Пушкин в 1824—1825 гг. [Пушкин XI: 21, 34; XIII: 187]. В. В. Виноградов в свое время писал о смещении в XVIII в. «церковнославянской морфологии с французской семантикой» [Виноградов 1977: 33]. Во второй половине XIX в. вызванная подобными процессами перестройка понятийной системы русского языка в основном завершается, так что появляется возможность говорить о периоде стабильности, хотя и весьма недолгом. Понятийные структуры, наблюдаемые в этот период, представляют собой сложный синтез церковнославянского языкового наследия, модернизационных процессов XVIII — начала XIX вв., в ходе которых осваивались понятия новой «европейской» культуры, «простонародного» употребления, игравшего роль своего рода призмы, в которой преломлялись усваиваемые из западной культуры понятия. Эта сложная фактура, определяющая богатство образованного русского языка, остается в значительной степени не изученной. Как было сказано выше, первые опыты этого изучения, появившиеся в последние годы, оказались весьма плодотворны. К этим первым опытам примыкает и настоящая книга.

В книгу входит ряд очерков, описывающих историю понятий разных типов, соотносящихся с разными аспектами истории культуры. Она начинается с очерка, посвященного излюбленному понятию *Begriffsgeschichte*, понятию времени, однако речь в этой работе идет не о перцепции темпоральности и концептуализации истории, как у Козеллека, а об измерении времени и контроле над ним; установление этого контроля ведет к ценностному переосмыслению неконтролируемого времени; в этой связи рассматривается история понятий *досуга* и *праздности* в русской культуре; в истории этих слов характерное для XVIII в. семантическое калькирование сочетается с переработкой семантики, унаследованной от предшествующих эпох, в случае *праздности* прежде всего с семантикой религиозной.

Следующий очерк посвящен истории понятий, непосредственно связанных с социальной историей, а именно понятиям *служба*,